

© 1995 г. В.М. АЛПАТОВ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК В РОССИИ И ЯПОНИИ

(Опыт сопоставительного анализа)

В данной статье мы хотим сопоставить процессы формирования и развития литературного языка в двух странах – России и Японии. На первый взгляд, эти две страны, принадлежащие к разным культурным ареалам и в нынешний период оказавшиеся в очень различных ситуациях, имеют между собой мало общего. Однако кое в чем исторические судьбы их имеют и сходство: обе страны относительно долго сохраняли традиционный, средневековый тип общества, а затем подверглись ускоренной европеизации, оказавшись в роли "догоняющих"; в культурном отношении там и там происходил процесс синтеза традиционных¹ и западных элементов; как в России, так и в Японии развитие шло скачкообразно и сравнительно спокойные эпохи сменялись периодами коренной ломки и переоценки ценностей. Такая общность проявлялась и в истории литературного языка, хотя, безусловно, немало было и различий. Нам хотелось бы попытаться выявить эти сходства и различия начиная от периода ускоренной европеизации (петровское время в России, 60-70-е гг. XIX в. в Японии) до наших дней.

Сами по себе истории развития литературного языка в каждой из двух стран изучены хорошо. Исследований русского материала немало², здесь наряду с классическими работами В.В. Виноградова и Г.О. Винокура хотелось бы отметить недавно изданную книгу М.В. Панова [1], специально посвященную истории литературного произношения, но содержащую и краткие, но четкие и точные характеристики этапов развития русского литературного языка с начала XVIII в. до наших дней. В Японии существует немало исследований, выполненных в рамках социолингвистической школы "языкового существования" (см. анализ этой школы в книге [2]). В отличие от нашей страны в Японии основное внимание уделяется описанию функционирования литературного языка в современном обществе, однако существуют и обстоятельные исследования исторического характера, см., например [3]. У нас данными вопросами занимался Н.И. Конрад, см. особенно статью [4]. Н.И. Конрад одним из первых в нашей науке занимался и сопоставительным анализом историй литературных языков: в той же статье японские процессы сопоставляются с аналогичными китайскими. Однако систематическим сравнением таких процессов в России и Японии мы занимаемся, по-видимому, впервые (о Японии мы писали в [5]).

1. СИТУАЦИЯ НАКАНУНЕ ЕВРОПЕИЗАЦИИ

Речь идет о ситуации в России к концу XVII в., в Японии в середине XIX в. В главном здесь существовало сходство, конечно, не составляющее специфики этих двух стран. Речь идет о функциональной диглоссии, при которой грамотные люди говорили на одном языке, а писали на другом. Автор первой зарубежной грамматики русского языка Г.В. Лудольф писал в 1696 г.: "Не только Св. Библия и остальные

¹ Еще одна общность связана с тем, что там и там традиционные элементы в свою очередь были результатом синтеза исконной культуры с более передовой: византийской в России, китайской в Японии.

² Они, однако, неравномерны по временным рамкам: если XVIII и XIX вв. изучены весьма полно, то литературный язык советского периода во многом остается "белым пятном".

книги, на которых совершается богослужение, существуют только на славянском языке, но невозможно ни писать, ни рассуждать по каким-нибудь вопросам науки и образования, не пользуясь славянским языком... В домашних и интимных беседах нельзя никому обойтись средствами одного славянского языка, потому что названия большинства обычных вещей, употребляемых в повседневной жизни, не встречаются в тех книгах, по которым изучаются славянскому языку. Так у них и говорится, что разговаривать надо по-русски, а писать по-славянски" [6, с. 113–114].

В Японии ситуация была сходной, хотя в отличие от России письменных языков было два: камбун и бунго. Из них камбун представлял собой специфическое для дальневосточного культурного ареала явление, аналогии ему существовали лишь в пределах этого ареала, в частности, в Корее, и, по-видимому, возможны лишь для стран, использующих иероглифику. Тексты на камбуне (дословно: китайское письмо) писались как бы по-китайски: они состояли из одних иероглифов, расположенных по правилам китайского синтаксиса³, но обычно снабженных дополнительными значками, указывавшими, во-первых, на случаи, когда японский словопорядок не соответствовал китайскому, во-вторых, на наличие в эквивалентном японском тексте не имевших китайских параллелей грамматических показателей. Камбун был не только чисто книжным, но и чисто письменным языком. Если же камбунный текст надо было произнести вслух, то его читали на бунго, используя информацию, содержащуюся в значках. Аналогом камбуна для России могла бы быть гипотетическая ситуация, при которой русский канцелярист писал бы свои бумаги по-гречески, зная при этом значение всех используемых слов и правила греческого синтаксиса, но не владея правилами произношения греческих букв и озвучивая свой текст при необходимости по церковно-славянски. По-видимому, такая ситуация просто невозможна при фонетическом письме, когда правила чтения букв усвоить гораздо легче, чем сложные правила перевода одного языка в другой. Формирование камбуна облегчалось и строем китайского языка, лишенного морфологии.

В отличие от камбуна бунго (дословно: письменный, литературный язык⁴) можно типологически сопоставить с церковно-славянским. Это также был полностью "свой" литературный язык. По происхождению, правда, церковно-славянский восходил к разговорному языку другого славянского народа, бунго же представлял собой обработанный язык столичного (киотского) двора IX–XII вв., то есть на всех этапах развития был языком японцев⁵. Другое различие состояло в том, что церковно-славянский был общим языком культуры ряда народов, а бунго ограничивался пределами обособленной островной Японии. Но пути их развития сходны: из разговорных они превратились в книжные, подверглись нормированию и к рассматриваемому времени полностью вышли из бытового обихода.

Два японских литературных языка жанрово распределялись: камбун господствовал в деловой сфере, на нем также писали научные трактаты ученые "китайской школы" (кангакуся). В художественной литературе, театре, религии использовали бунго, его предпочитали и кокугакуся, ученые "японской школы" (именно они создали национальную лингвистическую традицию и определяли нормы бунго). Ср. с ролью церковно-славянского, использовавшегося почти во всех культурных сферах, но менее всего в деловой; здесь мы имеем параллель с бунго. Но соотношение сфер употребления отличалось: показательно само (появившееся позже) название "церковно-славянский язык", "связь с богослужением всегда определяла отношение к этому

³ Японцы, писавшие на камбуне, считали, что пишут на самом для них престижном китайском языке, на деле же в камбунных текстах проявлялась языковая интерференция и они отличались от китайских.

⁴ Этот термин представляет собой кальку с голландского и распространился уже в период европеизации Японии.

⁵ Это различие не было существенным в данную эпоху, но позже, в период борьбы за новый литературный язык его сторонники в России рассматривали церковно-славянский не просто как другой язык, но как чужой, иностранный [7, с. 32, 39]. В Японии такая точка зрения никогда не существовала и принципиально была невозможна.

языку" [7, с. 4]. Эта окраска определялась самим происхождением этого языка, распространившегося на Руси вместе с христианской литературой. Бунго же имел светский характер, формировался он прежде всего в сфере художественной литературы, а его религиозное использование было лишь одной из функций.

Сами носители языка в обеих странах безусловно воспринимали церковно-славянский и бунго не как особые языки, а как наиболее престижные варианты собственного языка. В Японии такой взгляд, как мы увидим, существовал не только тогда, но и много позже. Применительно к России и некоторые лингвисты оценивают различия русского и церковно-славянского аналогичным образом; Г.О. Винокур писал о церковно-славянском языке и о "приказном языке" (см. ниже): "Надо думать, что в допетровское время это были, собственно, не два разных языка, в точном смысле термина, а скорее два разных стиля одного языка" [8, с. 111]. На наш взгляд, здесь точнее подход М.В. Панова: "Есть две системы словесного общения, и ими владеет один и тот же народ, более того: одна и та же территориальная и социальная группа людей. Когда такие системы надо считать двумя языками (а не стилями, не разновидностями одного языка)? Самый простой и, может быть, самый убедительный ответ: когда каждой системе надо отдельно учиться. По-другому (но то же): когда знание одной системы нельзя по каким-то правилам превратить в знание другой" [1, с. 319]⁶. С этой точки зрения бунго и церковно-славянский – особые языки.

Еще одна общность заключалась в том, чем эти языки различались с разговорными. «В области морфологии граница между "славенским" языком и "простым русским" обнаруживалась нагляднее всего» [8, с. 126]. То же было и с бунго. Когда разговорный язык в том или ином виде получал письменную фиксацию, главным индикатором того, что здесь – не бунго, всегда является морфология, весьма сильно, особенно в глаголе, отличная от бунговской; см. перечень отличий в морфологии между бунго и разговорным языком XVI–XVII вв. у Н.А. Сыромятникова [9, с. 6–7].

Оба литературных языка были нормированы. «Литератор предшествующего времени (до конца XVII в. – В.А.) мог быть в большей или меньшей степени грамотен, мог более или менее строго соблюдать предписания господствующей языковой нормы или же уступать время от времени внушениям своей обиходной речи, но всегда знал, что такая норма есть, что изучают ее по "Часослову" и "Псалтыри", что ее литературное выражение можно наблюдать в "Четых Минеях" и других подобных книгах» [8, с. 72]. В Японии также существовали образцовые тексты. Однако если все памятники, названные Г.О. Винокуром – церковные, то в Японии это были светские художественные тексты, поэтические и прозаические: поэтическая антология X в. "Кокинсю", прозаический памятник XIV в. "Цурэдзурэгуса" и др. Другой источник нормы – инструкции и наставления в грамматиках и трактатах. Тут были различия. "Нормы церковнославянского языка определялись не столько нормативными грамматическими описаниями... сколько наличием, так сказать образцовых текстов, написанных на этом языке" [7, с. 3]. Церковнославянских грамматик, написанных в России, не было, а русское издание в 1648 г. написанной в Вильно грамматики М. Смотрицкого стало единственным в своем роде; правда, еще бывали краткие наставления вроде предисловия к изданной в Москве в 1645 г. "Псалтыри" [см. 8, с. 72–73]. Б.А. Успенский отмечает, что "описания такого рода появляются вообще относительно поздно" [7, с. 3], но Япония опередила здесь Россию: к моменту европеизации здесь уже два века существовала развитая лингвистическая школа, заложившая основы грамматического анализа и установившая строгие орфографические нормы бунго, основанные на детальном анализе орфографии образцовых, в основном древнейших памятников. Подробнее о японской традиции см. [10].

Нормы бунго, в отношении орфографии значительно более разработанные по

⁶ Пример камбуна показывает, что, вообще говоря, это не "то же". Как мы видели, существовали правила соответствия между бунго и камбуном, но каждой системе приходилось учиться отдельно.

сравнению с нормами церковно-славянского языка, тем не менее были менее полными: они не распространялись на фонетику. Существовала достаточно строгая и охватывавшая зоны распространения различных диалектов традиция церковнославянского произношения, перечисление ее основных черт см. [1, с. 322]. Для бунго ничего подобного не было, хотя тексты на бунго могли произноситься и вслух. "Озвучивание" текстов на бунго обычно происходило по-разному в разных частях Японии в зависимости от диалектного членения. Определенные традиции иногда были, например, в театре, но были скорее жанровыми. Причина здесь, видимо, в особенностях дальневосточного культурного ареала: здесь всегда (по крайней мере, до массовой европеизации) культура понималась почти исключительно как письменная, существовал своего рода "культ" написанного. Здесь сыграли роль и сложность иероглифической китайской письменности, вызывавшей почтительное отношение, и языковая ситуация, издавна сложившаяся в Китае, где отсутствовало речевое взаимопонимание между жителями разных провинций и языковое единство поддерживалось лишь на письме⁷. Из Китая эта культурная особенность перешла в Японию. И в наши дни один из виднейших японских социолингвистов пишет о том, что для других народов, в том числе для европейцев, слово – это прежде всего то, что сказано, а письмо – лишь вспомогательное средство, но для японца слово осознается как нечто написанное и это важнее всего [11, с. 43; 12, с. 26]. Поэтому всегда для японцев очень значимым считалось овладение письменной нормой⁸, а устная речь независимо от тематики не обладала престижем. С другой стороны, церковно-славянский язык в отличие от бунго воспринимался как сакральный и важно было сохранять его обособленность от "мирского" языка, что в устной сфере было даже важнее, чем в письменной, обособлявшейся от повседневности уже по своей природе.

Что же противопоставлялось в позднесредневековой России и Японии литературным языкам? Здесь также были сходства и различия. Общим, безусловно, было преобладание диалектов и говоров, являвшихся единственной формой существования языка для большинства населения, прежде всего сельского⁹. Общим было и отсутствие общенационального языка на разговорной основе: для появления такого языка условий еще не сложилось. В отношении же языковых образований, промежуточных между локальным диалектом и общенациональным языком, между двумя странами имелись существенные различия.

В России уже в допетровское время существовал общий для всего государства письменный язык на разговорной основе, хотя и ограниченный по функционированию. Это был так называемый "московский приказный язык", господствовавший в деловой сфере. Он "представлял собой канцелярскую обработку обиходной речи с некоторыми, в общем незначительными заимствованиями из книжной традиции. В основе этого языка, постепенно вытеснявшего собой местные разновидности деловой речи и, таким образом, получившего в известный момент значение языка общегосударственного, лежал московский говор XVI–XVII вв." [8, с. III]. "Процесс вытеснения письменных территориальных диалектов московским приказным языком, претендовавшим на значение общенациональной русской нормы, завершается в XVII в." [14, с. 35]. В пре-

⁷ В этом смысле дальневосточному ареалу противоположен индийский с его пренебрежением к письменному знанию (только там великий научный труд мог, как это было с грамматикой Панини, функционировать текстом). Европа и Ближний Восток находились в этом смысле посередине.

⁸ Отметим, что в позднесредневековой Японии уровень грамотности был много выше, чем в России на соответствующем этапе. Там к XVIII в. существовала массовая печатная литература (см. следующую сноску).

⁹ В Японии диалектная речь активнее, чем в России, проникла в художественную прозу. Язык многих произведений XVIII–XIX вв., рассчитанных на массового читателя, был смешанным: преобладал диалог, где фиксировались черты разных диалектов, немногочисленные фразы от автора писались на бунго; языковой анализ таких памятников см. [13, с. 24–31]. О каком-либо, даже стихийном, нормировании подобных текстов в их диалектной части говорить, видимо, нельзя. Аналогичная "низовая" литература в России обычно отличалась, особенно в грамматике, смешением разговорных и церковно-славянских черт.

делах "приказного языка" "в XVII в. устанавливаются фонологические нормы общерусского государственного языка... окончательно укореняется целый ряд грамматических явлений, широко распространенных в живой народной речи как севера, так и юга" [14, с. 36].

В Японии ничего подобного не сложилось. Наоборот, как мы видели, деловые документы там писали на камбуне, то есть используя языковую систему, максимально удаленную от "живой народной речи". В Японии вплоть до ее европеизации и капитализации не было никакого языкового образования, равно понятного на всей ее территории, за исключением бунго и камбуна. При этом поскольку камбун принципиально был письменным языком, а на бунго не существовало единых произносительных норм, то такая понятность обеспечивалась только на письме (этим Япония сближалась с Китаем).

Существовали лишь региональные койне, бытовавшие почти исключительно в устной форме. В данный период из них особую роль играли два¹⁰ койне – киотское и эдоское. Киотское койне, основывавшееся на диалекте Киото, тогда резиденции императора, имело репутацию столичного. Оно было известно и за пределами Киото, особенно на западе и юге Японии; поэтому именно на нем, наряду с бунго, издавали свою литературу первые европейские (португальские) миссионеры конца XVI – начала XVII вв.¹¹ Несколько раньше описываемого здесь периода, в те же XVI и XVII вв. предпринимались попытки создания на этом койне и литературных произведений [см. 9, с. 16–34]. Отдельные продолжения таких попыток встречались почти до конца данного периода: в 90-х гг. XVIII в. выдающийся ученый школы кокугакуса Мотоори Норинага перевел на него упоминавшуюся антологию "Кокинсю", анализ этого памятника см. [13, с. 21–24]. Однако значение Киото постепенно падало, а киотское койне сужало свое функционирование до уровня диалекта.

Иные перспективы имело эдоское койне (традиционное его наименование "эдоский (токийский) диалект" нельзя считать точным). Город Эдо в восточной Японии (позднее переименованный в Токио) с XVII в. стал ведущим политическим и экономическим центром страны, в котором постоянно сталкивались выходцы из разных районов Японии. Японские феодалы обязаны были являться ко двору военных правителей-сёгунов, располагавшемуся в Эдо, за ними тянулись купцы и ремесленники (лишь прикрепленные к земле крестьяне оставались вне этого процесса). В нагорной части Эдо (Яманотэ), более зажиточной и престижной по социальному составу, постепенно начало складываться единое койне, которое усваивал каждый, кто попадал в Яманотэ. Как указывал лингвист Танака Акио в докладе в Токийском муниципальном университете 08.12.1984, линия развития была следующей: язык эдоских самураев → язык зажиточных горожан Яманотэ → язык Яманотэ → (за пределами данного периода) стандартный японский язык. Основой эдоского койне были восточнояпонские диалекты, окружавшие Эдо, в области фонетики и акцентуации они господствовали почти полностью, однако в грамматике и особенно в лексике в койне попало немало элементов из других диалектов, особенно киотского и диалектов, расположенных между Киото и Эдо [15, с. 80]. Из Эдо данное языковое образование начинало распространяться по стране. За ним было будущее, но пока что на нем не писали; если оно попадало в литературу, то лишь наряду с другими диалектами.

¹⁰ Третьим койне такого рода было окинавское, охватывавшее о-ва Рюкю на крайнем юге Японии. Эти острова имели тогда полунезависимое от центральной власти положение, поэтому на основе окинавского диалекта сложился определенный единый для Рюкю стандарт, существовала даже окинавская художественная литература. С 70-х гг. XIX в. началось вытеснение его общепонским стандартом.

¹¹ Португальцы использовали два языка, исходя из собственных языковых представлений. На бунго, казавшийся им аналогом латыни, они переводили Библию, на киотское койне, представлявшееся аналогом европейских "вульгарных" языков – басни Эзопа и прочую светскую литературу. В самой Японии жанровое распределение между бунго и разговорными формами языка было, как мы видели, иным. В начале XVII в. христианские миссионеры были изгнаны из Японии, и их деятельность реальных результатов не имела.

2. ПЕРИОД ЕВРОПЕИЗАЦИИ

Общественная ситуация в России в петровское и послепетровское время и в Японии второй половины XIX в., безусловно, различались во многом. Уже то, что вестернизация Японии происходила на полтора века позже, определяло многие различия, начиная от ускоренной капитализации Японии, о которой в России XVIII в. речи быть не могло. Несомненно, иным было соотношение культуры-донора и культуры-реципиента: Россия и Запад имели немало общих культурных черт, начиная от христианства (хотя и разных ветвей) и кончая общим индоевропейским происхождением языков¹²; контакты России и Запада никогда не прекращались совсем, а в XVII в. уже были достаточно интенсивны; в то же время западная и японская культуры такой общности не имели, Япония всегда обособлялась островным положением, а последние два века перед вестернизацией вообще существовала как закрытая от всех страна. Однако общность процессов заключалась в том, что каждой стране предстояло в короткий срок преодолеть или хотя бы сократить отставание в самых различных сферах, выйти на новый этап развития, измениться под влиянием освоения культур передовых государств. Одной из сфер, где сходство общественных процессов проявилось особенно наглядно, была социолингвистическая.

Прежняя языковая ситуация, когда говорят на диалектах, а пишут на совершенно ином книжном языке, на Западе (где роль бунго или церковно-славянского играла латынь) в начале XVIII в. и тем более в середине XIX в. была далеко позади, а Запад воспринимался как образец и в России, и в Японии. Стояла задача перейти на уровень, который чешско-австралийский японист И. Неуступны назвал уровнем "раннего современного языка" [16, с. 147–159]. "Создание нового литературного языка выступает как важный момент в процессе европеизации русской культуры" [7, с. 4]; это же самое можно сказать и о Японии.

Процесс формирования такого языка в России занял примерно столетие, последним его этапом была карамзинская реформа конца XVIII – начала XIX вв. В быстрее развивавшейся Японии он занял более чем вдвое меньший период времени, довольно точно совпадая с так называемой эпохой Мэйдзи, именуемой по посмертному имени правившего в 1868–1912 гг. императора.

"В это время выдвигаются разнообразные языковые программы, отражающие различные концепции литературного языка" [7, с. 5], идут ожесточенные споры по языковым проблемам. Но вестернизация Японии шла позднее и там уже существовала развитая школа языковедов, поэтому процесс шел более сознательно. В России эксплицитное высказывание взглядов по отношению к развитию нового литературного языка началось, видимо, лишь с предисловия В.К. Тредиаковского к "Езде в остров Любви" (1730), но в Японии об этом начинали писать тогда, когда реальный процесс еще был делом будущего. Толчком к осознанию необходимости языковых реформ послужило открытие Японии для европейцев в 50-е гг. XIX в. И в 1866 г., еще при старом строе, Маэдзима Мицу обратился к сёгуну с докладом в пользу реформы языка и письменности [4, с. 16]. Но лишь буржуазная революция 1867–1868 гг., внешне выглядевшая как свержение сёгуна и восстановление императорской власти, могла начать реальные изменения.

Поначалу языковая политика скорее направлялась на регламентацию бунго, в самом начале эпохи Мэйдзи даже расширившего функции за счет камбуна. Перевод делопроизводства на бунго привел к быстрому угасанию явно архаичного для XIX в. камбуна. Его существование ранее поддерживалось представлением об особой престижности китайского языка, но теперь престижными стали западные языки. Камбун

¹² Культурологи обычно мало обращают внимания на языковые аспекты культуры, хотя строй и происхождение языка могут определять очень многое. Японские ученые весьма склонны именно в особенностях языка видеть корни своей специфики. В России и на Западе такой подход мало характерен; см. впрочем гипотезу лингвистической относительности Б. Уорфа или идеи Н.С. Трубецкого о евразийском языковом союзе как важной составной части евразийской культурной общности.

уступил позиции без боя, хотя пассивное владение им в какой-то степени сохранилось до наших дней: его преподают в школах, хотя меньше, чем до войны; сейчас камбун занимает два урока в неделю в трех классах средней школы [17]. Вкрапления камбуна (изречения, пословицы, цитаты и др.) можно встретить и в современных текстах. Отмечают, например, использование камбуна в таком распространенном жанре японской словесности, как новогодние поздравления [18, с. 11]. Однако начиная с эпохи Мэйдзи положение камбуна всегда оставалось периферийным.

Бунго же в это время не только расширил сферу употребления, но и стал шире распространен благодаря введению ранее отсутствовавшей системы государственного образования. В эпоху Мэйдзи начальное образование охватило всю страну, была ликвидирована неграмотность (в России такая задача не могла быть решена не только в XVIII, но и в XIX в.). В связи с использованием бунго в школьном обучении его нормы (по-прежнему лишь орфографические и грамматические), уже давно установленные учеными школы кокугакуся, стали официально введенными, чего раньше не было.

Но безусловно, всеобщая грамотность не могла бы быть достигнута, если бы образование и дальше велось на одном бунго, как это делалось в первые годы эпохи Мэйдзи. Необходимо было создать более современный литературный язык. Как отмечают японские исследователи [19, с. 366], в отличие от многих стран в Японии одновременно шли два процесса: формирования литературного языка и распространения его по всей территории государства, завершили они также примерно в одно время.

Основа нового литературного языка ни у кого не вызывала сомнений. Значение Эдо окончательно закрепилось в 1868 г. переносом туда столицы государства, тогда же Эдо переименовали в Токио. Эдоское койне после 1868 г. испытало влияние еще некоторых диалектов, в частности диалекта Сацума на юге о-ва Кюсю (выходцы оттуда сыграли важную роль в революции), но главным в процессе превращения его в литературный язык было скрещение его с бунго.

В фонетике и акцентуации влияния бунго быть не могло; наоборот, по мере нормирования нового литературного языка и тексты на бунго стали читаться так же, как тексты на новом языке. Грамматическое влияние бунго на новый литературный язык (получивший в эпоху Мэйдзи название "кôго", то есть "разговорный язык") имело место, а в некоторых стилях, как будет сказано ниже, было весьма значительным; но поскольку отличия бунго от любых разговорных вариантов языка воспринимались в первую очередь как отличия в грамматике, то всегда существовала грань между текстами на бунго и кôго в этой сфере и многие бунговские грамматические показатели в кôго не допускались. Однако лексика и графика нового литературного языка формировались на основе бунго. Орфографические нормы просто были перенесены с бунго на кôго вместе с графикой (основанной на сочетании иероглифики с национальными азбуками), хотя эти нормы сильно не соответствовали реальному произношению, являясь графическим отражением киотской фонологической системы времен формирования бунго. В лексике же не было четкой грани между бунго и кôго. Точнее, некоторые различия существовали в одну сторону: какая-то часть лексики, появившейся в языке после создания бунговских норм, не допускалась в бунго как "неправильная", но могла появиться в кôго, однако кôго, отводящая у бунго тот или иной функциональный стиль, вбирал в себя и характерную для него лексику (но как правило не грамматику!). Конечно, какие-то старые слова исчезали из языка, реально сохраняясь лишь в словарях, но не было лексики, которая могла бы считаться специфической для бунго¹³ (ср. иную ситуацию со многими славянизмами в России XVIII в.).

Двумя стилями, в которых новый литературный язык сформировался быстрее всего, стали газетно-публицистический и художественно-прозаический. Появление

¹³ Если такая была, то ее отличия от иной лексики были стилистическими: она употреблялась в такой сфере, которую еще не охватил новый литературный язык.

прессы явилось одним из первых нововведений эпохи Мэйдзи. Газета по своей природе рассчитана на широкого читателя и должна быть общепонятной. Поэтому с самого начала авторы газетных публикаций старались писать не на чистом бунго и употребляли разговорные формы. К концу XIX в. сформировался газетно-публицистический стиль. Однако раннее его формирование повлекло за собой особо сильное влияние на него бунго. Не только в эпоху Мэйдзи, но и позже язык газет независимо от их направления характеризовался сосуществованием грамматических черт бунго и кого, большим количеством архаичной книжной лексики. Для носителей языка, однако, такие тексты однозначно понимались как тексты на кого: тексты на бунго характеризовались строгой нормой в области грамматики, там ни при каких обстоятельствах не могли появиться окончания и служебные слова, еще не существовавшие в языке IX–X вв., в газетно-публицистическом же стиле они употреблялись свободно.

Более радикальные изменения произошли в художественной прозе (в поэзии позиции бунго оказались значительно прочнее). Решающими здесь были 80-е гг. XIX в., когда важную роль играло движение, получившее название "гэмбун-итти", то есть "единство слова и письма". Так назывался трактат Модзумэ Таками, появившийся в 1886 г. В этом же году появилось первое художественное произведение на кого, автором которого был 18-летний Ямада Бимё, весьма разносторонний человек, совмещавший в себе писателя, теоретика движения "гэмбун-итти" и лингвиста-лексикографа и акцентолога¹⁴. Чуть позже начинает работать другой видный писатель, примыкавший к движению "гэмбун-итти" – Фтабатэй Симэй. Споря друг с другом и со сторонниками сохранения бунго, они сознательно отбирали из допускавшего вариации токийского койне те или иные слова и формы, см., например, описанные в статье Н.И. Конрада [4, с. 12–13] споры о том, какую форму связки предпочесть¹⁵. Становление нового литературного языка шло в тесной связи со становлением новых литературных жанров и расширением тематики. Большую роль здесь играли переводы. Не раз отмечалось, например, значение для того и другого осуществленного Фтабатэем перевода рассказа И.С. Тургенева "Свидание" из цикла "Записки охотника"¹⁶. Особо важен оказался перевод не сюжетной части рассказа, а занимающего его значительную часть описания природы. Японская классическая литература не знала столь развернутого пейзажа и попытка передать его по-японски требовала и формирования новых языковых средств для этого. В творчестве этих писателей, а также Нацумэ Сосэки, Симадзакки Тосона и др. новый литературный язык окончательно сформировался в пределах данного функционального стиля. Проза на бунго, еще влиятельная в большую часть эпохи Мэйдзи, к концу ее уходит на периферию, а позднее исчезает вообще.

Этап формирования нового литературного языка в Японии завершился в первые два десятилетия XX в. Свидетельствами его окончания стали создание единой для всей Японии системы школьного преподавания нового литературного языка и связанное с этим опубликование в 1917 г. первой полной его нормативной грамматики, выработанной Министерством просвещения.

В России главным содержанием языковой ситуации в аналогичный переходный период также была выработка норм нового, более современного литературного языка. Если японисты единодушно рассматривают новый язык как сформированный на разговорной основе (некоторые японисты первой половины XX в., как Е.Д. Поливанов¹⁷,

¹⁴ В обеих странах совмещение профессий писателя и лингвиста характерно лишь на первых этапах формирования ранних современных языков: В.К. Тредиаковский и М.В. Ломоносов в России, Ямада Бимё в Японии. Позднее такое совмещение становится нехарактерным.

¹⁵ В этом случае и в ряде других споры кончились тем, что в литературный язык вошли все формы, о которых дискутировали, но с различиями по вежливости или по сфере употребления.

¹⁶ Русская культура воспринималась в Японии периода вестернизации безусловно как часть западной.

¹⁷ У Е.Д. Поливанова такое неразличение было сознательным и отражало его общее стремление "поднять" лингвистическую ценность диалектов, показать их равноправность для исследователя с литературным языком.

даже именовали его "токийским диалектом"), то русисты спорят об основе: одни, как В.В. Виноградов, считают его русским по происхождению, но испытавшим церковно-славянское влияние, другие, как Б. Унбегаун – церковно-славянским по происхождению, но испытавшим русское влияние. Однако и там, и там происходил синтез двух языковых систем, причем если посмотреть на то, как синтез происходил в разных ярусах этих систем, то обнаруживается несомненное сходство (безусловно, закономерное и, по-видимому, свойственное далеко не только России и Японии).

Хотя в отличие от Японии в России существовали строгие нормы произношения литературных текстов, они в целом не прижились в новом литературном языке. В книге М.В. Панова [1] показано, как постепенно на протяжении XVIII в. этот язык изживал нормы такого произношения вроде различения *е* и *я* или *оканья*. К первой половине XIX в. все это исчезло или сохранилось в качестве реликта вроде произношения словформ *бога*, *богу* и т.д. с фрикативным заднеязычным, в целом не закрепившимся в литературной системе (отметим, что совпадение тех или иных явлений церковно-славянского произношения, например, *оканья*, с явлениями диалектов не помогало им остаться в литературном языке: слишком далеки диалекты от "высокого штиля")¹⁸. Сходное развитие мы имеем и в морфологии: в основе система соответствовала русской. Хотя В.К. Тредиаковский в период борьбы за создание нового литературного языка при общей установке на разговорный язык включал в норму форму родительного падежа единственного числа на *-ья* как широко распространенную [7, с. 102], она все же сначала ушла целиком в поэтический язык, а потом исчезла. Система времен также сформировалась на русской основе, а имперфект и аорист не вошли в новый литературный язык с самого начала¹⁹. Правда, подсистема причастий перешла из церковно-славянского, но и ряд морфологических элементов нового японского литературного языка был заимствован из бунго. В то же время орфография при измененной форме знаков (чего в Японии не было) формируется, как и в Японии, на основе прежнего письменного языка: разграничение *е* и *я* надолго останется и тогда, когда они в произношении совпадут окончательно, а написания вроде *сегодня* сохранились и поныне.

Наибольшие отличия от Японии имели место в лексике. Если не было четкой грани между лексикой бунго и *кёго*, то славянизмы весьма строго противопоставлялись "низкой лексике", хотя понятие славянизма вызывало, как показывает Б.А. Успенский, разные ассоциации. Это во многом связывалось с наличием церковно-славянского произношения, выделявшего и охватываемую этим произношением лексику. Различия слоев лексики были в первую очередь стилистическими, но бывали и семантические сдвиги. А дальше шел долгий, противоречивый и сложный процесс сращения двух слоев лексики, закончившийся либо исчезновением или уходом на далекую периферию одного из дублетов, либо сохранением обоих с различием значений²⁰.

Если содержание процесса формирования нового литературного языка в двух странах было сходным, то форма его протекания различалась. Достаточно сказать, что в России важнейшую роль сыграла ломоносовская концепция "трех штилей", аналогов которой в Японии не было. Причин этому, вероятно, было две.

¹⁸ Есть впрочем и иные источники *оканья* на периферии современного литературного языка. Оно возможно в заимствованиях вроде *НАТО* с целью избежать омофонии. Особенно оно заметно в профессиональных подъязыках, скажем, у японистов: даже в русской речи бессознательно хочется различить *яп. такой* 'высокий' и *Токай* (точнее, *Тёкай*) – название района Японии и университета; при этом *оканье* сохраняется, а долгота гласного нет. Ср. также *оканье* в некоторых стилях произношения в словах типа *поэма*, *бомонд*.

¹⁹ В "низовой" литературе начала XVIII в. еще можно встретить примеры вроде *стаиша во фрунть* [8, с. 74], но затем они исчезают.

²⁰ Дублеты охватывали далеко не всю систему. Многих слов, которые были в русском языке, церковно-славянский язык не знал, употреблять их в славянских текстах можно было как особое стилистическое средство, а скорее всего – вообще нельзя. Например, в церковно-славянском языке не было слова *стул* [1, с. 320–321]. В Японии эта проблема не была столь острой.

Во-первых, в России гораздо быстрее, чем в Японии, старый литературный язык отодвинулся на периферию языкового развития. Возможно, это было связано с отсутствовавшей у бунго религиозной окраской церковно-славянского языка. Светский характер послепетровского культурного развития не совмещался с ней, поэтому данный язык в чистом виде уже к середине XVIII в. уходит целиком в культовую сферу. Даже в "высоком штиле" не могло быть, например, свободного употребления форм имперфекта и аориста; те формы, какие употреблялись, имели характер штампов и формул²¹. "Высокое", "пурпурное", по выражению М.В. Панова, произношение также далеко не совпадало с церковно-славянским [1, с. 322–323]. В Японии же бунго сохранял жизнеспособность и престижность и не было нужды в создании какого-то особого "высокого штиля".

Во-вторых, иным было представление о литературных жанрах. В России исходили из нормативных представлений классицизма, прежде всего французского, о "высоких" и "низких" жанрах, требовавших разного языка. К тому же вообще проблема жанров была и проблемой литературного языка в целом, поскольку этот язык и тогда, и еще долго позже понимался едва ли не исключительно как язык художественной литературы. Хотя нормы этого языка и тогда распространялись на деловой и газетный стили, но они находились вне жанровых систем и считались "низкими" по определению. И в конце XVIII в. карамзинисты отрицательно относились к "приказному" и "семинарскому" языку, что имело и социальные причины [7, с. 43]. Характерен и сам термин "литературный язык", сохранившийся до наших дней. Буквальный аналог этого термина в японском языке – как раз "бунго", а литературный язык в обычном терминологическом смысле никогда так не назывался: так же как бунго не ощущался как преимущественно культовый язык, так и кто-то не был языком художественной литературы по преимуществу. Если в России (да и на Западе) существовало и существует представление о "изящной словесности" в противовес непрестижному творчеству журналистов и канцеляристов, переносившееся на оценки языка, то в Японии никого не смущало то, что на самом престижном языке – бунго – писали в первую очередь деловые бумаги. Системы "высоких" и "низких" жанров в столь законченном виде, как в Европе, никогда в Японии не было, а на Западе к моменту европеизации Японии она уже была разрушена и ее невозможно было заимствовать. Роль "высокого" стиля внутри нового литературного языка в лингвистическом (не социальном!) смысле скорее играл в Японии стиль газетно-публицистический, наиболее близкий к бунго.

Как и в Японии, в России формирование новых литературных норм быстрее всего произошло в области морфологии: "в течение 1730-х–1740-х гг. морфологическая проблема была в общем разрешена" [8, с. 130]. Но разрыв между разговорным и церковно-славянским языками в сфере фонетики и лексики не мог быть преодолен быстро и почти на полвека закрепился благодаря установленным М.В. Ломоносовым нормам трех "штилей". Их различие было прежде всего лексическим и касалось разного соотношения между русской и церковно-славянской частями словаря: "в пределах каждого стиля – за исключением низкого – сочетались, соединялись в одном тексте слова по происхождению церковно-славянские и слова бытовой русской речи" [1, с. 286]. В фонетике же "был высокий стиль произношения, и ему противостоял средний стиль (его же называли и низким)" [1, с. 318].

Если в Японии уже через два десятилетия после начала формирования нового литературного языка развернулось движение "гэмбун-итти", то в России сопоставимая с ней деятельность Н.М. Карамзина и его сторонников начинается лишь с 90-х гг. XVIII в. В Японии, если применять к ней русскую шкалу измерений, перешли непосредственно от петровского времени к карамзинскому, минуя эпоху Ломоносова и

²¹ Таких штампов и формул типа *Христос воскрес, ничтоже сумняшеся* немало и в современном языке. Их можно сопоставить с вкраплениями камбуна в современный японский язык. В "высоком штиле", конечно, их роль была значительнее.

Сумарокова. Впрочем, как показано в [7], В.К. Тредиаковский и В.Е. Ададуров во многом предвосхитили идеи карамзинистов еще в 30-е гг. XVIII в., то есть примерно через такое же количество лет после начала вестернизации, какое потребовалось для появления сходных идей в Японии. Однако в Японии эти идеи сразу стали популярными, а в России их время тогда еще не пришло, а сам В.К. Тредиаковский с 40-х гг. XVIII в. перешел на позиции сохранения церковно-славянского языка. Б.А. Успенский связывает такой поворот событий с политической ситуацией: с началом царствования Елизаветы активная вестернизация сменилась усилением национализма, что проявилось и в языковой области [7, с. 173–174]. В Японии же активная вестернизация шла до начала XX в., а значительное усиление национализма произошло уже тогда, когда нормы нового литературного языка установились и языковая ситуация стабилизировалась.

Цели Карамзина и деятелей движения "гэмбун-итти" во многом сходились: сблизить письменный язык с устным языком образованных людей, сформировать нормы литературного языка, независимого от старописьменного. Но материал, с которым они работали, был разным. В Японии к 80-м гг. XIX в. бунго противопоставлялась разнородная и неупорядоченная смесь систем, сближение устного и письменного языков одновременно было и окончательным формированием литературных норм. В России же к концу XVIII в. такие нормы уже существовали, но не были едиными: оставались жанровые барьеры, в конечном итоге обусловленные сохранением остатков былой диглоссии. "Н.М. Карамзин сделал еще один шаг в сторону преодоления русского двуязычия: он выдвинул из трех стилей как основной и важнейший средний стиль. Два других (высокий и низкий) отодвинулись далеко на окраину литературной речи" [1, с. 287].

Но различия между карамзинистами и деятелями "гэмбун-итти" существовали еще по крайней мере в двух пунктах. "Язык карамзинистов явно ориентируется на разговорную речь светского общества или, иными словами, на социальный диалект дворянской элиты" [7, с. 41]. Токийское же койне, на которое в наибольшей степени ориентировались в Японии, еще до эпохи Мэйдзи имело более широкое распространение: на нем уже говорили не только самураи.

Еще важнее были различия с точки зрения цели. Как подчеркивает Б.А. Успенский, в Западной Европе новые литературные языки формировались как национальные, переход от латыни к французскому или итальянскому языку означал демократизацию литературного языка; однако в России новый литературный язык в эпоху карамзинистов представлялся как язык элиты не только по происхождению, но и по назначению. "Литературный язык этого рода не столько объединяет общество, сколько разъединяет его" [7, с. 68]. Церковно-славянский язык, знакомый (как и бунго) не только элите, оказывался даже в чем-то демократичнее. Карамзинистам просто не приходило в голову распространение создаваемого ими языка через народные школы, хотя объективно их деятельность способствовала этому. В Японии ситуация была ближе к западной, а в силу поздней вестернизации демократизация литературного языка шла еще последовательнее. Новый литературный язык с самого начала воспринимался как общий не только для всего государства (это имплицитно принимали и карамзинисты), но и для всех социальных слоев, не разъединяющий, а объединяющий общество, более демократичный, чем бунго, поскольку на нем легче учиться. И он быстро вошел в школьное обучение.

Другое различие состояло в том, что для карамзинистов "литературный язык ориентируется на некий (четко не определяемый и потенциально открытый) *текст*, а не на *систему* нормативных правил" [7, с. 21]; характерно, что они (в отличие от своих предшественников В.К. Тредиаковского, В.Е. Ададунова и М.В. Ломоносова) не были лингвистами. В Японии же, где уже существовала своя лингвистическая традиция и в то же время быстро осваивалась западная наука о языке, с самого начала устанавливались строгие правила для нового литературного языка, поначалу сильно зависимые от ранее существовавших правил для бунго.

"Полной победы у реформы Карамзина в XVIII в. не было" [1, с. 287], как не сразу победило и движение "гэмбун-итти". Однако первая половина XIX в. при всех откатах назад и прорывах вперед ("архаисты и новаторы") была периодом, когда новый литературный язык окончательно занял господствующее положение, подчинив себе другие формы существования русского языка. Как и в Японии, он распространяется по всей территории государства; прежде всего это происходит через школу и через книгу. Также происходит закрепление его норм через грамматики и академические словари.

3. ПЕРИОД РАННИХ СОВРЕМЕННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ

Мы пользуемся (достаточно условно) термином, предложенным И. Неуступны [16, с. 152] в отношении языков, свойственных обществам, характеризующимся капитализацией при сохранении значительных докапиталистических черт, определенной зависимостью от передовых стран Запада²². В этот период в обеих странах сложилась более или менее стабильная социолингвистическая ситуация, развитие, конечно, шло, но достаточно медленно, без ярко выраженных сдвигов. В России этот период продолжался почти столетие: с 20-30-х гг. XIX в. до начала XX в.²³ В Японии, вообще развивавшейся более ускоренно, соответствующий период был гораздо короче: с 10-х по 40-е гг. XX в.

Для обеих стран ведущую роль в языковой ситуации играл уже вполне сложившийся и в основном уже вполне нормированный и получивший четкие границы литературный язык, употреблявшийся и в устной, и в письменной речи. Там и там он был противопоставлен игравшим значительную роль диалектам, ограниченным как территориально, так и функционально. Там и там не сложилось достаточно развитых промежуточных языковых образований типа региональных койне (в Японии, как говорилось выше, они раньше были, но затем либо сузили свою функцию до диалектной, либо расширили до функции литературного языка); исключение в Японии впрочем составляли изолированные острова Рюкю, где и в это время жители разных островов еще нередко общались друг с другом по-окинавски²⁴. Не было и развитого территориального варьирования литературного языка (если оно и было, то представляло собой влияние диалектов в чистом виде). В России существовало различие норм петербургского и московского произношения, не раз упоминаемое в книге М.В. Панова, но все же оно не было очень значительным. Нечто аналогичное можно усмотреть в противопоставлении токийского и киотоского вариантов японского языка. В бывшей столице Киото и расположенной рядом Осаке даже культурные люди говорили не совсем так, как в Токио. При этом такие различия затрагивали не только фонетику и лексику, но и морфологию, чего в Москве и Петербурге, кажется, не было.

Типичную для Японии ситуацию описывал Н.И. Конрад, бывавший там в начале данного периода, в 1910-е гг.: «Мы слышали вокруг себя такую речь, которую понимали очень плохо: это был местный диалект. Так бывало в городах и тем более в деревнях: здесь часто приходилось искать кого-либо, говорящего по-токиоски... Обычно таким человеком оказывался местный чиновник или школьный учитель. Крестьяне

²² Перечисление черт ранних современных языков у И. Неуступны [16, с. 153–157] весьма интересно, но, пожалуй, слишком привязано к японской конкретике. Вряд ли можно говорить, например, об универсальности для данного этапа развитой системы форм вежливости.

²³ Отмена крепостного права при всей ее важности для капитализации России не привела к какому-либо заметному изменению языковой ситуации.

²⁴ Впрочем, некоторую роль играл и, например, говор г. Акита на севере Японии, на котором говорили носители разных местных говоров. Упоминается любопытный факт: в 30-х гг. любительский кружок разыгрывал на нем "Предложение" А.П. Чехова [20, с. 6]. Ситуация, видимо, немыслимая на родине автора этой комедии. Упоминаемый М.В. Пановым "докающий Чацкий" или пародийный "монолог Чацкого в исполнении вилenskого семинариста", исполнявшийся В.И. Качаловым, были просто отражением недостаточного владения нормой.

же "столичную речь" кое-как понимали, но на наши вопросы отвечали так, что мы их не понимали почти совсем» [4, с. 19]. Отметим еще сохранявшиеся представления о литературном языке как о "столичном". Но в русской деревне в сущности было так же (хотя в городе, пожалуй, такая ситуация уже была немислима). Разница, может быть, была лишь в том, что в России несмотря на значительно более обширную территорию диалектные различия часто не были столь сильны, как в относительно небольшой, но разделенной горами и проливами на изолированные части Японии (если бы мы отделяли языки от диалектов лишь по чисто лингвистическим критериям, не учитывая наличие общего для всех языкового образования, то мы вряд ли бы могли говорить о едином японском языке).

Главным источником распространения литературного языка в обеих странах, несомненно, была школа²⁵. Другим важным его источником была книга: национальным свойством обоих народов (конечно, лишь грамотной их части) была и остается склонность к чтению, удивляющая наблюдателей из других стран, например, американцев. Были и различия. Хотя в Японии, как и в России, "местный чиновник", часто присланный из города, а то и из центра, играл роль распространителя языковой нормы, но документы, которые он писал, должны были составляться на бунго, тогда как в России языковая норма распространялась вширь и через делопроизводство. В России с середины XIX в. "возникает образец, живое воплощение орфоэпического идеала: театральная речь" [1, с. 94]; в Японии театр такого значения не имел: традиционный театр типа кабуки стал достаточно архаичным по языку, а театр европейского типа был, наоборот, склонен к просторечию и отклонениям от нормы; столь большого культурного значения, как театр в России, ни тот, ни другой не имели. Зато Япония на данном этапе уже имела радио, появившееся в 20-е гг. XX в., в России радиовещание появилось примерно в это же время, но это была уже иная эпоха.

Можно отметить и некоторые другие общие черты языковой ситуации в России и Японии на данном этапе. В обеих странах существовали очень строгие орфографические нормы, жестко закрепленные в инструкциях и преподававшиеся в школах, но не было столь же жестких орфоэпических норм (впрочем, как мы увидим, степень нормализации здесь была в России выше, чем в Японии). Там и там распространение литературного языка на письме было, особенно в провинции, шире, чем в устной речи. Немало было грамотных людей, говоривших "некультурно", обратная же ситуация встречалась редко. Эти черты И. Неуступны считает, видимо, не без оснований общим свойством ранних современных языков. Общим был и консерватизм орфографии, сохранявшей черты, унаследованные от старописьменных языков.

Были и заметные различия. Одной из них было различие в использовании старописьменных языков: бунго функционировал много шире, чем старославянский. Последний уже давно законсервировался в церковной сфере, но и там его роль сводилась к воспроизведению старых текстов, но не к созданию новых. Даже "высокий штиль", гибрид русского литературного с церковнославянским, к середине XIX в. вышел из употребления. Какая-то традиция еще оставалась, причем в менее культурной среде больше, чем среди уже вполне европеизировавшегося общества: вспомним рассказ М. Горького о том, как дед учил его уже в 70-е гг. XIX в. грамоте по-церковнославянски. Но это уходило в прошлое.

Иное положение существовало в Японии. Бунго вплоть до второй мировой войны оставался (в отличие от камбуна) вполне живым языком. В деловой сфере "все писалось по его нормам, начиная с текста закона и кончая квитанцией о приеме белья в прачечную" [4, с. 12]. Продолжал он сохраняться в традиционных видах поэзии

²⁵ Если судить об этом распространении по лингвистической литературе, то может показаться, что в Японии роль школы была больше: японские ученые много пишут об этом факторе, тогда как отечественные исследователи, включая М.В. Панова, уделяют гораздо большее внимание роли художественной литературы (М.В. Панов также театра). Но, думается, происходит это отчасти из-за недостатка материала о роли школы, отчасти из-за общего для нашей культурной традиции и часто бессознательного желания особо выделить значение "высокого искусства" в жизни.

(прозу на нем уже не писали), традиционном театре типа но, в религиозной сфере²⁶ и частично в сфере науки, где однако шел постепенный процесс его вытеснения: видный лингвист Ямада Ёсио (1873–1958) и в 30-е гг. печатал свои книги на бунго, но лингвисты, родившиеся в 80-90-е гг., уже писали на кôго.

Один из этих ученых, Токиэда Мотоки так характеризовал в 1941 г. роль бунго в связи с разграничением позиции наблюдателя (внешней по отношению к языку) и позиции субъекта (носителя языка): "С позиции наблюдателя современный и старописьменный языки рассматриваются как разные этапы развития языка; с точки зрения субъекта они, скорее, различаются по престижности" [22, с. 93]. То есть в это время бунго оценивался в Японии так же, как церковно-славянский в России кануна петровской эпохи ("архаисты" сохраняли этот взгляд и в начале XIX в.). Такой подход выдерживался и лингвистами. Если до революции 1867–1868 гг. и первое время после нее единственным достойным объектом изучения считался бунго, то в 20-30-е гг. господствовало комбинированное описание, хорошо представленное в изданной в русском переводе грамматике [23]: описывалась единая надсистема бунго и кôго, при каждом примере указывалось, в каком из языковых вариантов он употребляется, лишь в одной главе, посвященной приглагольным служебным элементам, единый способ описания сохранить не удавалось, и он распадался на две части, посвященные раздельному описанию этих элементов в кôго и бунго.

Поскольку бунго оставался живым языком, он не мог не изменяться. Многие изменения сводились к влиянию со стороны нового литературного языка. Такие изменения хорошо прослежены А.А. Холодовичем в книге [24], где описан канцелярский бунго XX в., использовавшийся в частности и в послуживших материалом книги военных приказах, уставах и наставлениях (отсюда название книги). Нет нужды останавливаться на том, что подавляющего числа применявшихся в таких текстах военных терминов не было до XIX–XX вв. в старописьменном языке. Но и грамматика менялась несмотря на строго закрепленные нормы. При этом употребление грамматических форм новояпонского языка (в том числе кôго), еще не встречавшихся в образцовых для бунго текстах IX–XIV вв., строго запрещалось. Однако произошла редукция старой системы там, где она не имела параллелей в современном языке. А.А. Холодович писал: "Возьмем приведенные нами примеры... Если бы мы изучали феодально-литературный язык (бунго. – В.А.) в полном объеме, то нам пришлось бы знать употребление *двадцати семи* разновидностей этих окончаний...; военный же язык добывается выражения тех же самых значений с помощью всего лишь *семи* разновидностей; таким образом, он экономит, сдает в архив 75% ненужных ему форм" [24, с. 4–5]. Менялось и значение: "*Тару* по своему происхождению является глаголом-окончанием совершенного вида. В классическом литературном языке он употреблялся для выражения законченности, завершенности действия как в прошедшем, так и в будущем времени. Однако в военном языке он является показателем просто прошедшего или прошедшего-результативного времени" [24, с. 65, 66]. Из этого *-тару* в современном языке получился показатель прошедшего времени *-та*. В текстах на бунго нельзя было употреблять *-та*, но можно было использовать *-тару* в той же функции, а исконное значение *-тару* забылось²⁷.

Если бы русские военные приказы времен Брусилова писались по церковно-славянски, то весьма вероятно, что там бы уже не было ни аориста, ни имперфекта, а аналитический перфект использовался в значении русского прошедшего времени. Но такой

²⁶ Показателен пример возродившегося в эпоху Мэйдзи (но не ставшего особо популярным) христианства: все канонические тексты уже тогда перевели только на бунго. В книге [21], содержащей фрагмент из Евангелия на 770 языках и диалектах, нет современного японского, а под названием "Japanese" приводится текст на бунго [с. 64–65].

²⁷ Есть основания считать, что в старояпонском языке и в классическом бунго категории времени не было вообще, она развилась лишь в новояпонском языке. Но в XX в. она ужé была и в диалектах, и в литературном языке, и через последний проникла в бунго.

ситуации в России не было. А церковно-славянский, уйдя из живого употребления, перестал и изменяться.

Были различие и в степени охвата населения литературными нормами. На письме охват был значительно больше в Японии. Там уже к началу данного периода практически не было неграмотных и если не писать, то хотя бы читать на кого уже могли почти все. В России даже перед революцией до этого было еще далеко: неграмотных было более половины русского населения. Япония здесь обогнала Россию не только относительно (на соответствующем этапе), но и абсолютно по времени. С другой стороны, Япония отставала по распространению устных норм. Не только бунго, но и новый литературный язык во многом понимался как письменный, несмотря на все старания деятелей "гэмбун-итти" и их последователей. Выше уже приводились слова Н.И. Конрада о том, что даже в городах в это время устной формой литературного языка владели, по крайней мере активно, лишь немногие. А ведь, как следует из той же цитаты, школьные учителя тогда были уже везде. Особенно плохо дело обстояло с распространением литературной акцентуации: за пределами Токио и тогда, и даже позже устойчиво сохранялось ударение местного диалекта, хотя во всем остальном речь могла быть вполне литературной²⁸. В школе старались отучить от слишком явных диалектных черт в произношении, но литературная норма, во многом еще воспринимавшаяся как токийская, нигде строго не формулировалась: еще очень значимым было представление о языке культуры как о языке письменности, а на устную речь много внимания не обращали²⁹, хотя столичное произношение стихийно распространялось через миграции населения, языковое общение, а к концу периода и через радио. В России же еще в первой половине XIX в. произошло "признание бытовой речи культурной ценностью" [1, с. 188], что облегчало распространение орфоэпических норм, даже если они и не были хорошо сформулированы.

4. ПЕРИОД НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Мы далеки от того, чтобы приравнять в социальном плане события революции и гражданской войны в нашей стране с событиями японской истории, последовавшими за поражением во второй мировой войне. Однако в обоих случаях произошли коренные общественные перемены, сменились прежние системы ценностей, наступил период нестабильности. И сменился этот период в обеих странах новым этапом "гонки за лидером", форсированной индустриализацией и новой вестернизацией.

Общественная нестабильность привела и к языковой нестабильности. Просторечная и диалектная стихия ломала ранее существовавшие барьеры, старые нормы многим казались связанными с отвергнутой системой ценностей и потому подлежащими упразднению. Нестабильность языковой ситуации там и там продолжалась и тогда, когда общая обстановка в стране уже стала менее напряженной: в СССР все 20-е гг., в Японии примерно до второй половины 50-х гг.

В нашей стране тогда «иные с надеждой говорили о сломе старого "буржуазного" языка. Другие боялись этого» [1, с. 15]. Точку зрения первых в свойственной ему крайней форме выразил академик Н.Я. Марр: "Тут не о реформе письма или грамматики приходится говорить, а о смене норм языка, переводе его на новые рельсы действительно массовой речи. То, что нужно, это... речевая революция, часть культурной революции" [26, с. 47]. И еще: "Не реформа, а коренная перестройка, а сдвиг всего этого надстроечного мира на новые рельсы, на новую ступень стадийного развития человеческой речи, на путь революционного творчества и созидания нового языка"

²⁸ Японское музыкальное ударение отличается от русского силового не только качественно, но и функционально: оно, несмотря на существование минимальных пар, не играет такой смысловоразличительной роли, как в русском языке. Зато оно издавна служило индикатором происхождения человека.

²⁹ В сущности собственного ударения японские ученые, по их признанию, разобрались лишь под влиянием Е.Д. Поливанова, работавшего в Японии в 1914, 1915 и 1916 гг. См. воспоминания Сакума Канаэ в книге [25].

[27, с. 371]. А так говорил последователь Н.Я. Марра В.Б. Аптекарь: «Сейчас у нас, безусловно, язык рабочих, прежде всего, будет иметь преобладающее место в литературе и мы будем изгонять интеллигентские особенности языка... И если сейчас определенно господствующая группа вводит свой стиль в литературный язык, то прежние стилистические украшения, обязательные для каждой статьи, как например, "Что он Гекубе, что ему Гекуба", исчезают... Такими языками раньше могла говорить интеллигенция, но не широкие массы, теперь же это, очевидно, в корне переживется» [28, с. 41].

В Японии при всем различии ситуаций говорили нечто похожее. Вскоре после войны именитый писатель Сига Наоя утверждал, что японский язык безнадежно плох и лучше заменить его, например, французским (подобные идеи высказывались в Японии и в самом начале европеизации). Японские левые, в частности, писатель и языковед Такакура Тэру, призывали приблизить языковую норму к "языку простого народа", а для этого упразднить или свести к минимуму иероглифику, не употреблять непонятные на слух слова китайского происхождения, исключить из языка формы вежливости; попутно предлагали и развить в японском языке по европейскому образцу категории лица и числа. Н.И. Конрад, обычно более осторожный в своих прогнозах, отнесся к этим высказываниям очень серьезно, заявив: "По-видимому, сейчас Япония вступает в фазу действительного завершения строительства этого (национального литературного. – В.А.) языка" [29, с. 120]. Отмена иероглифики и переход к латинскому алфавиту планировались, по некоторым данным, и американской оккупационной администрацией [30, с. 176]. Отметим, что и у нас Н.Ф. Яковлев предлагал перевести русский язык на латиницу, предложив три варианта латинского алфавита для этого языка [31].

Но это были либо декларации, либо проекты, не претворенные в жизнь. Однако в эпохи общественных перемен в обеих странах проводились и реальные реформы языковых норм. Кое-что здесь было сходным. Там и там почти сразу после революции в России и оккупации Японии провели орфографическую реформу, связанную с отказом от исторических написаний соответственно в кириллице и хирагане и катакане. Написание приблизили к произношению, причем в Японии радикальнее: там историческое написание сохранилось лишь в нескольких частотных грамматических показателях, а русская реформа не затронула написания типа *сегодня*³⁰.

В обеих странах языковые реформы осуществлялись достаточно жесткой властью (оккупационной в случае Японии), а выступавшие в качестве "спецов" ученые³¹ исходили из представлений о возможности целенаправленного вмешательства в развитие языка; тезис Ф. де Соссюра о невозможности языковой политики критиковался в обеих странах (Л.П. Якубинский в СССР, Нисио Минору в Японии). Однако реформа в Японии была (несмотря на меньшую радикальность социальных преобразований) намного радикальнее, чем в нашей стране.

Причин здесь было две. Во-первых, главное внимание советских реформаторов уделялось языкам других народов СССР, которые стремились как можно скорее довести до того уровня, на котором уже находился русский язык. Упомянувшийся проект латинизации русского языка Н.Ф. Яковлева был лишь эпизодом в его очень активной деятельности, гораздо больше он занимался языками Северного Кавказа. Тот же И. Неуступны, ссылаясь на Е.Д. Поливанова, указывает, что в СССР уже к 20-м гг. русский язык находился на такой стадии развития, на какой была необходима не языковая политика, а культура речи, тогда как в отношении других языков надо было вести языковую политику [16, с. 266]. Но культура речи в ситуации 20-х гг. не была первоочередной задачей, поэтому русский язык оказался почти вне деятельности

³⁰ "Акающая" орфография (вполне возможная, как показывает пример белорусской письменности) не была введена, по-видимому, из-за того, что она психологически воспринималась как слишком "неграмотная", тогда как, например, различие *е* и *я* казалось просто архаизмом, несмотря на их разную судьбу в некоторых диалектах.

³¹ Речь идет о деятелях языкового строительства, а не о создателях принятой после революции орфографии, разработанной намного раньше.

языковых реформаторов; кстати, и марристы дальше деклараций здесь не пошли, несмотря на завоеванную ими власть в языкознании.

Во-вторых, в Японии нерешенных задач действительно оставалось больше. Для русского языка явным архаизмом была орфография, которую давно предлагали изменить, но лишь революция позволила это сделать. В Японии оставались еще три проблемы, по разным причинам неактуальные для нашей страны: бунго, сложность иероглифики и формы вежливости.

Сразу после войны использование бунго в официальной документации было отменено. Символом этой перемены стало принятие в мае 1947 г. новой конституции, написанной на *кôго*. После этого бунго сразу ушел на периферию функционирования языка. Иероглифику³², как уже говорилось, оккупационные власти планировали отменить, но для начала установили иероглифический минимум из 1850 иероглифов, которым обязали пользоваться, и упростили написание ряда сложных иероглифов. Сложная система форм вежливости, не только среди советских японистов, но и многими в самой Японии воспринимавшаяся как "феодалная", подверглась жесткому отбору: в соответствии с новыми нормами ряд особо вежливых форм не рекомендовался к употреблению; в частности, сюда попали слова и грамматические формы, употреблявшиеся только в отношении императорской семьи³³. Большинство указанных преобразований произошло в первые год-два после войны, но установление новых норм продолжалось в течение примерно десятилетия, до середины 50-х гг. В СССР же после 1918 г. к вопросам разработки норм русского языка всерьез вернулись лишь в 30-е гг., когда ситуация стабилизировалась.

5. ПЕРИОД ВТОРИЧНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

В Японии это период со второй половины 50-х гг. XX в. до наших дней, у нас с 30-х по 80-е гг. XX в. В общественном плане СССР и Япония, конечно, при некоторых элементах сходства имели гораздо больше различий. Однако языковые ситуации все же имеют здесь больше сходств, чем различий, что, по-видимому, объясняется тем, что оба общества окончательно достигли индустриальной стадии (Япония затем сумела перейти на постиндустриальную стадию, а СССР этот барьер взять не удалось).

В обеих странах именно в этот период впервые создается общий для всех и охватывающий все сферы общения литературный язык. Ранее такой всеобщности не было, хотя и за счет разных факторов. В России и до революции существовал вполне сложившийся и годный для любой сферы общения нормированный язык. Однако он не был всеобщим: даже большинство русского населения, не говоря о нерусском, не знало грамоты, не училось в школе и не владело каким-то стилем речи, кроме бытового. Как ни оценивать советский период нашей истории, но именно тогда сложилась единая система школьного образования. В Японии, наоборот, такая система существовала и до второй мировой войны, но литературный язык, будучи всеобщим, не охватывал все сферы общения: читали и как-то писали на нем почти все, но говорили очень немногие, а некоторые стили, как, например, деловой, вообще не были им охвачены. Теперь же в отличие от времен Н.И. Конрада человек, владеющий литературным языком, сможет общаться с населением любой японской деревни. Но и в России сейчас в основном так. Исключение в обеих странах составляет лишь часть людей старшего поколения.

В основе в обеих странах литературные языки остались теми же, что и раньше.

³² Строго говоря, кириллическое письмо, как и японское, относится к смешанным фонетико-иероглифическим. Однако, исключая особые подъязыки вроде математического, употребительных иероглифов здесь даже меньше, чем букв в алфавите (цифры, знаки параграфа, номера, температуры и пр.), и особой проблемы они не составляют.

³³ И в России была аналогичная лексика, а также особые написания типа *Наследник Цесаревич*. После свержения монархии все это исчезло так быстро, что не понадобились и специальные постановления.

В 20-е гг. в СССР многим казалось, что литературный язык стал или становится совершенно иным по сравнению с прежней эпохой. Даже Е.Д. Поливанов, сопоставляя вслед за А.М. Селищевым язык комсомольских рассказов Марка Колосова с "языком рядового интеллигента довоенного времени", восклицал: "Да, это уже *другой язык*" [32, с. 168]. Но тут же он указывал: "Отнюдь не фонетика, а *словарь*, и только словарь, делает современный язык... непонятным для обывателя с языковым мышлением 1910–1916 годов" [33, с. 138]; см. также [32, с. 169–171]. Как подчеркивал Е.Д. Поливанов, в период социальной нестабильности менялся не столько сам язык, сколько состав его носителей: "На пути к бесклассовому своему характеру русский литературный язык становится классовым языком уже не той группы лиц, которая была носителем этого языка до революции, а более широких и социально-разнородных слоев населения Союза" [34, с. 227].

Правильно оценивая настоящее, Е.Д. Поливанов не совсем верно дал прогнозы на будущее. Ему казалось, что через одно-два поколения русский язык должен существенно измениться за счет интерференции между литературным языком и говорами широких масс, его осваивающих, а также в связи с овладением этим языком массами нерусского населения [34, с. 227–228]. Этого не произошло. Однако он как раз был прав, предсказывая, что русский литературный язык станет "бесклассовым". Только произошло это не по тем причинам, о которых он думал: японский литературный язык также стал "бесклассовым" и раньше, чем русский³⁴.

Конечно, какое-то влияние диалектного и иноязычного субстрата на русский литературный язык существовало и существует, но этот вопрос изучен очень слабо. Во всяком случае оно не лежит на поверхности. В целом же "сохранение языковых (в том числе и фонетических) ценностей – важнейший результат истории русского литературного языка XX в... Школа, радио, звуковое кино, театр, граммофонная и патефонная пластинка помогли остановить натиск диалектов" [1, с. 16]. Язык комсомольских рассказов М. Колосова современному интеллигенту ненамного понятнее, чем интеллигенту 1910–1916 гг., а сам Колосов, доживший до 1989 г., писал в более поздних произведениях на вполне стандартном языке.

В Японии в целом шел тот же процесс, но по причинам, о которых речь пойдет ниже, влияние локальных вариантов языка было заметнее; к тому же этот вопрос изучен явно лучше. Различие отражается и в подходе японских социолингвистов. Привычному для нас термину "литературный язык" в Японии соответствовало несколько. Наряду с упоминавшимся термином *кōго* ("устный язык"), отошедшим на второй план с выходом из активного употребления бунго, еще до войны распространился термин *хёдзюngo* ("образцовый язык"). Последний термин существует и сейчас, но распространился и еще один термин – *кёцүgo* ("общий язык"), при этом *хёдзюngo* и *кёцүgo* нередко употребляются не как синонимы. Об этом писал С.В. Неверов: «В ходе обследования (языковой ситуации в провинциальном городе. – В.А.) выяснилось, что большинство жителей этого района практически в своей повседневной жизни и деятельности не пользуется национальным литературным "образцовым" языком (*хёдзюngo*). Для систематизации научных представлений об этом явлении потребовались сведения о языке макропосреднике – общем языке, несколько отличающемся с точки зрения норм произношения и словоупотребления от литературного "образцового" языка, но понятного жителям всей страны (в том числе и данного района) в противоположность местным диалектам, употребление которых локально ограничено. В качестве условного наименования для этого языка-макропосредника было принято слово *кёцүgo*» [2, с. 14].

По-видимому, в *кёцүgo* можно выделить разные компоненты. Ядро его составляет

³⁴ В 30-е гг. Е.Д. Поливанов, Н.И. Конрад и др. называли этот язык "буржуазным" в противоположность "феодалскому" бунго и "народным" диалектам, однако через школу он уже в то время распространился во всех слоях населения.

хёдзюngo: "классический стандарт литературного национального языка, фиксируемый как общая норма – за пределами индивидуального стиля – в орфоэпии, орфографии, синтаксисе и функциональной стилистике" [2, с. 15]. Но входят сюда и допустимые отклонения от этого образца начиная от индивидуальных и кончая общепонскими. Например, в *хёдзюngo* очень частотная форма длительного вида образуется присоединением к деепричастию смыслового глагола вспомогательного глагола *иру* "быть": от *миру* "видеть" – *митэ иру*; форма потенциалиса 1 образуется только от глаголов с согласным исходом основы а, например, от того же *миру* ее образовать нельзя. Однако в разговорном, а иногда даже в письменном языке формы длительного вида стягиваются в единое слово: *митэ иру* → *митэру*, а от *миру* образуется форма потенциалиса 1 *мирэру*. Наконец, *кёцүго*, являясь общим для всех языком, не исключает и локального варьирования. Особенно это проявляется в сфере акцентуации, несмотря на то, что уже давно нормы существуют и здесь. Обычно японец, даже прекрасно владеющий литературным языком, сохраняет в той или иной степени акцентуацию того района, где он родился; материнская акцентуация преобладает даже при перемене места жительства, см. [35]. Упомянутый Сибата Такэси говорил в одном из выступлений, что прожив 45 лет в Токио, он до сих пор не знает правильную акцентуацию ряда слов. Взаимопониманию это однако не мешает.

Речь одного и того же человека в пределах *кёцүго* варьируется: на письме, перед телекамерой или в разговоре с вышестоящим она более приближается к *хёдзюngo*; при этом надо учитывать, что этот же человек может пользоваться и диалектом (см. ниже). Определенный разрыв между письменной и устной речью³⁵ безусловно существует и сейчас, хотя в области художественной литературы, как отмечает И. Неуступны [16, с. 172], наблюдается второе движение "гэмбун-итти", связанное со стремлением писать на чисто разговорном языке; И. Неуступны видит в этом аналог того, что происходило в литературе Запада 1900–1920-х гг.

В связи с этим необходимо сопоставить *кёцүго* с русским разговорным языком. М.В. Панов, противопоставляя этот язык (РЯ) кодифицированному литературному языку (КЛЯ), пишет: "РЯ – некодифицированный. ... Он усваивается только путем непосредственного общения между культурными людьми. Ведь РЯ – одна из двух систем, составляющих литературный (культурный) язык, поэтому его носители – те же лица, которые владеют КЛЯ" [1, с. 19].

Можно ли говорить, что *хёдзюngo* соответствует кодифицированному литературному языку, а *кёцүго* покрывает обе системы, составляющие литературный язык? Если на первый вопрос можно ответить безусловно положительно, то на второй вопрос приходится ответить и "Да", и "Нет". С одной стороны, любой носитель литературного языка говорит и в Японии не так, как пишет, а в неофициальной обстановке говорит совсем не так, как в официальной. О большом варьировании японского языка, в том числе по сравнению с западными, пишут многие; см., например, [36, с. 55; 37, с. 6]. Например, японские студенты в общении между собой говорят и даже пишут так, что их с трудом понимают окружающие, но экзаменационные сочинения пишут на правильном *хёдзюngo* [38, с. 8–12]. Но с другой стороны, на разговорных вариантах "общего языка" говорят далеко не все, а лишь население крупных городов, прежде всего Токио с пригородами и городов Хоккайдо.

М.В. Панов связывает появление разговорного языка с реакцией на "оказнивание" литературного языка в советский период [1, с. 19]. Он же считает, что до революции его не было. Последнее утверждение нам кажется спорным, но даже если с ним согласиться, то все равно нельзя однозначно связывать формирование подобной системы с советским строем, как имплицитно получается из книги М.В. Панова: в Японии она есть тоже. Скажем, упомянутая форма *мирэру*, весьма основательно изученная, не

³⁵ В японском языке этот разрыв усиливается еще особенностями, связанными с иероглифической письменностью, многие из которых не переводятся в устную речь. Но это особая тема.

признается учебниками и нормативными грамматиками, но употребляется в неофициальном общении абсолютно культурными людьми, причем по всей Японии. И таких примеров много. Можно отметить по крайней мере две причины, поддерживающие существование в Японии особой системы разговорного языка. Во-первых, для японцев очень значимо противопоставление "свой-чужой", проявляющееся и в речи, каждому японцу важно противопоставлять речь с близкими людьми, входящими в тот же коллектив, что и он, и речь с людьми вне своего коллектива (границы между "своими" и "чужими" могут меняться в зависимости от ситуации). Во-вторых, мы уже упоминали о формах вежливости, весьма различных в официальной и неофициальной речи. Впрочем, и вопрос об оказывании стандартного языка, о сведении его к массовым стереотипам вполне актуален и для Японии [см. 2, с. 41–42; 39, с. 146–149].

Всеобщее распространение нормы в обеих странах шло в целом схожими путями. Продолжала сохраняться роль школы и книги, но все большее значение приобрели средства массовой информации, особенно телевидение. В СССР телевидение началось в 1938 г., а в Японии лишь в 1953 г., но массовое значение оно приобрело примерно в одно время – к концу 50-х гг. И опять-таки роль телевидения в распространении языковой нормы и язык телевидения с точки зрения соответствия норме хорошо изучены в Японии (подробнее см. [40, с. 103–108]), но не у нас. В Японии общепризнано, что если орфографии в основном обучаются в школе, то орфоэпии – через телепередачи, и лишь с массовым распространением телевидения орфоэпические нормы (кроме отчасти акцентуационных) стали всеобщим достоянием, особенно влияя на речь детей.

Роль средств массовой информации, значительная в обеих странах, намного более осознана и признана в Японии. Любопытны слова лингвиста Тоёда Кунио: "Язык постоянно нуждается в норме. Для определения правильности нормы необходим авторитет или какое-то обоснование. Авторитеты, которые давали это обоснование, менялись с течением времени. От жрецов в древнейшие времена право быть авторитетом переходило к знающим письменность ученым и к людям искусства. В современной Японии таким авторитетом является массовая коммуникация" [41, с. 15]. В СССР представления были иными и скорее более архаичными. Пример – дискуссия в советской печати в 1964–1965 гг. по проекту реформы орфографии: в общественном мнении выступления писателей, обычно лингвистически элементарно неграмотные, воспринимались как самые весомые, лингвистов слушали гораздо меньше, а работники средств массовой коммуникации, по крайней мере электронных, вообще не высказывались³⁶.

Не удивительно, что в Японии нормирование языка сосредоточено в двух ведомствах: Министерстве просвещения и полугосударственной теле- и радиоконпании Эн-эйч-кэй; их нормы, жестко выполняемые лишь соответственно в школьном преподавании и в передачах Эн-эйч-кэй, оказывают тем не менее влияние на всю языковую ситуацию. Нормы двух ведомств, несколько более пуристичные у Министерства просвещения, иногда не совпадают и конкурируют друг с другом.

В СССР Гостелерадио и его предшественники, хотя также выпускали справочники для дикторов, не оказывали особого влияния на выработку языковых норм. В качестве нормализаторов языка также выступали Министерство просвещения (через издание учебников), Академия наук (словари и справочники), играли роль и издательства, выпускавшие нормативные словари и справочники.

Сами по себе способы изменения и уточнения нормы в обеих странах аналогичны: это либо постановления и циркуляры о частичном изменении, уточнении или отмене каких-либо правил, либо нормативные словари и грамматики, при переизданиях которых что-то меняется.

Ни в той, ни в другой стране после достижения стабилизации уже не стоял вопрос о коренной смене литературной нормы в каком-либо отношении. Вспомнив термины

³⁶ Японский рецензент советской "Энциклопедии юного филолога" Тино Эйити удивлялся наличию там статей о писателях, указывая, что японская традиция не могла бы такое позволить [42, с. 37].

И. Неуступны, можно сказать, что в обеих странах перешли от языковой политики к культуре речи, норма прежде всего на этом этапе сохраняется неизменной, лишь в деталях изменяясь или уточняясь. Ни о приближении русского литературного языка к "языку рабочих", ни об отмене японских форм вежливости, ни о переводе того или иного языка на латинский алфавит речи уже не шло. Даже менее радикальные перемены оказывались невозможными. Неудача проекта орфографической реформы 1964 г. последовала не из-за упомянутой выше позиции писателей: сама эта позиция отражала точку зрения "нормального" взрослого грамотного носителя языка, которому прежде всего не хочется переучиваться. Лишь в годы революций или коренных реформ можно преодолеть такое нежелание.

Даже реформы периода всеобщей ломки прижились по-разному. Орфографические реформы в обеих странах оказались успешными (показательно, что в нашей стране в последние годы при массовом движении за возвращение к "исконной" топонимике не стали сколько-нибудь заметными призывы вернуться к старой орфографии). В Японии также полностью оправдали себя отмена бунго, упрощение написания иероглифов и упразднение императорских форм. Но уже реформа форм вежливости удалась не полностью, многие рекомендации себя не оправдали. Лишь частично удался и иероглифический минимум. Хотя несомненно число употребляемых иероглифов уменьшилось и возврат к старому уже невозможен [16, с. 271; 43, с. 28], но количество реально употребительных иероглифов всегда заметно превышало этот минимум: в 1966 г. в ведущих газетах Японии было употреблено 3313 иероглифов, примерно в 1,7 раза больше минимума [43, с. 26]; многие рекомендации по написанию конкретных слов остались на бумаге, особенно в отношении собственных имен. Минимум несколько раз пересматривался, последние пересмотры произошли в 1981 и 1990 гг. В целом изменения шли в сторону увеличения, сейчас в минимуме 2.229 знаков, но реально их все равно больше. Попытка упразднить так называемую фуригану (написание чтения иероглифа азбукой сбоку от него для пояснения или стилистического эффекта) вообще не удалась: фуригана никогда не исчезала даже в учебниках, в 1972 г. постановление о ее отмене было аннулировано. Более поздние попытки ввести какие-то более или менее значительные изменения нормы не прижились. Это можно сопоставить с постановлением 1944 г. о введении в русском письме обязательного употребления буквы ё. Даже в те во многих других отношениях строгие времена добиться такого употребления не удалось.

Это однако не исключает изменения написания или произношения отдельных слов, что происходило не так уж редко: автор этого текста учился писать *подмышку*, *биллиард*, *Лос-Анжелос*, а потом пришлось привыкать к написаниям *под мышку*, *бильярд*, *Лос-Анджелес* (в последнем случае изменилось и произношение). Только у нас такие изменения нередко производятся "на глаз", а в Японии они – результат длительного и массового наблюдения над языком и опроса множества информантов. Если оказывается, что дикторы телевидения регулярно произносят некоторое слово не так, как это предписывается нормой, а информанты предпочитают то же произношение, что и дикторы, то норма меняется.

С точки зрения распространения литературного языка обе страны в данные периоды имеют сходство. Но роль других языковых образований оказывается иной. В русскоязычных районах СССР литературный язык не имел конкурентов. Конечно, диалекты всегда существовали, а степень владения литературным языком была и остается различной, но диалекты в советское время окончательно стали непрестижными, а под влиянием средств массовой информации и контактов между людьми их особенности быстро изживались. Не сложились региональные койне, а региональные особенности литературного языка, и раньше не очень большие, совсем сгладились: "Перемешивание людских масс в годы великих исторических потрясений было постоянным и максимально широким, где тут устоять локальным особенностям" [1, с. 16]. С другой стороны, церковно-славянский язык с ослаблением позиций церкви в государстве ушел на еще более далекую периферию, а славянизмы если и продолжали проникать в литературный язык, то лишь в нарочито сниженном значении: в газетном

стиле *приснопамятный* и *подвизаться* могли быть лишь ругательствами. И сейчас, хотя роль церкви вновь начала усиливаться, вряд ли можно ожидать "обмирщения" церковно-славянского языка.

В Японии же далеко не исчерпана историческая роль бунго и тем более диалектов, а региональные койне, ранее почти исчезнувшие, вновь начинают появляться. Роль бунго резко снизилась после 1945 г., но до сих пор бунго учат в школе, классическую литературу чаще издают в оригинале с комментариями, чем в переводе на современный язык, только на бунго пишут стихи в традиционных жанрах танка и хайку (правда, в большинстве эпигонские и нередко с ошибками), сохраняется бунго в традиционном театре и в религиозной сфере, включая и христианство. Но важнее не само функционирование бунго, достаточно ограниченное, а продолжение его влияния на современный литературный язык. Одна из черт, удивляющих иностранца при знакомстве с японской лексикографией – большой процент старой лексики, часто никогда не употреблявшейся в новом литературном языке [см. 44]; ср. русские толковые и двуязычные словари, куда не принято включать лексику, вышедшую из употребления в допетровский период. Пока бунго был живым языком, а образцом для него оставались тексты древних эпох, то любой архаизм имел шанс быть употребленным в тексте на бунго, а через него попасть и в кого (в период ускоренной европеизации так нередко происходило со словами, которые использовали как эквиваленты для передачи новых понятий). Сейчас это встречается много реже, но не исчезло совсем, особенно в некоторых специализированных текстах (юридических, патентных), где и грамматика приближена к бунговской. Грамматические заимствования из бунго нередки и в иных стилях вплоть даже до разговорного, воспринимаясь как более вежливые и изысканные. Ср. также состояние камбуна, о котором говорилось выше.

Но намного важнее современная роль диалектов, о которой мы писали подробнее [40, с. 17–24]. По-прежнему они остаются главным средством коммуникации в семье и с близкими друзьями и соседями. Мы уже говорили, что русскому разговорному языку соответствующее языковое образование в Японии соответствует лишь частично: в деревне и в малых городах полностью преобладают диалекты. Именно на диалектах большинство японцев начинают говорить, лишь затем через телевидение и школу они осваивают литературную норму.

Сохраняя свою роль функционально, диалекты меняются структурно, испытывая влияние литературного языка. Например, система фонем в современных диалектах обычно совпадает с литературной. Однако не говоря об акцентуации, и многие грамматические и лексические диалектные черты остаются очень устойчивыми. Более того, очень многие японские исследователи отмечают появление так называемых "новых диалектов", это явление отмечено в самых разных районах Японии. В "новых диалектах" наряду с явлениями, происходящими из старых диалектов или из литературного языка, наблюдаются и ранее не существовавшие лексемы и даже грамматические формы.

Престижность диалектов заметно повысилась сравнительно с довоенным временем, когда люди даже скрывали знание диалектов. Раньше свободное владение диалектом свидетельствовало о незнании или недостаточном знании литературного языка. Теперь большинство японцев вполне владеет обеими системами и свободно переходит от одной к другой. Нам приходилось видеть, как в телепередаче группа женщин из префектуры Мияги на севере Японии вела беседу между собой на диалекте, но увидев телекамеру, эти женщины перешли на вполне нормальный литературный язык. Среди носителей русского языка такой способностью вряд ли обладает кто-либо, кроме специалистов-диалектологов.

Если до войны в школах отучивали детей от диалектных особенностей, то теперь диалекты рассматриваются как национальное достояние: в научно-исследовательском институте при компании Эн-эйч-кэй вместе с записями голосов знаменитых людей хранятся записи исконных, не подвергшихся литературному влиянию диалектов (которые все-таки почти исчезли). В школах вводятся особые для каждого региона курсы

правильного пользования местным диалектом, а в местном радиовещании встречаются передачи на диалектах. Тем самым диалекты, сохраняя локальность, начинают подвергаться нормализации. Но упорядочить каждый говор невозможно. Такие нормализованные языковые образования уже скорее не диалекты, а региональные койне, в которых усредняются особенности отдельных диалектов. Со временем из них могут образоваться и локальные варианты литературного языка.

Как трактовать такую роль диалектов, не имевшую и не имеющую аналогов в России? Свидетельство ли это перехода к постиндустриальному обществу, где жесткое вытеснение одних языков другими и одних вариантов языка другими вариантами того же языка сменяется "мирным сосуществованием"? Или же это отражение все той же склонности японцев проводить барьер между "своими" и "чужими"? В самом деле, владея одним лишь диалектом или одним лишь литературным языком, такой барьер провести труднее, а современный японец говорит на диалекте со "своими" и на литературном языке с "чужими" (в том числе в официальных ситуациях). "Перемешивания людских масс в годы великих исторических потрясений" (например, в конце войны, когда шла массовая эвакуация из районов бомбардировок) немало было и в Японии, но диалекты либо сохранялись, либо заменялись диалектами же. Например, остров Хоккайдо заселялся в основном лишь в последнее столетие и там перемешались выходцы из разных диалектных зон. При этом их исконные диалекты через два поколения исчезли, но образовался общий новый диалект. Так что диалекты в Японии очень устойчивы, в России же многие из них исчезли или исчезают.

Несколько лет назад на этом можно было бы поставить точку, но сейчас ситуация, мало изменившись в Японии, коренным образом изменилась в уже бывшем СССР. Уже очевидно, что за социальной дестабилизацией следует и языковая, на глазах теряют силу старые табу и предписания, расшатывается норма. Но выводы пока делать рано.

За недостатком места мы не коснулись ряда важных компонентов языковой ситуации, в частности, вопроса о заимствованиях, где тоже есть немало любопытных параллелей. Безусловно, мы не претендуем на решение поставленных нами проблем. Нам прежде всего хотелось бы привлечь к этим проблемам внимание как русистов, так и японистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Панов М В История русского литературного произношения XVIII–XX вв. М, 1990
2. Неверов С В Общественно-языковая практика современной Японии М, 1982
3. Кодза-кокугоси Т 6 Бунтайси, гэнго сэйкацу-си Токио, 1972
4. Конрад Н И О литературном языке в Китае и Японии // Труды Института языкознания АН СССР Т X М, 1960
5. Алпатов В М Социолингвистическая ситуация в Японии XIX–XX вв. // Диакроническая социолингвистика М, 1993
6. Ларин Б А Русская грамматика Лудольфа 1696 года Л, 1937
7. Успенский Б А Из истории русского литературного языка XVIII–начала XIX века Языковая программа Карамзина и ее исторические корни М, 1985
8. Винокур Г О Избранные работы по русскому языку М, 1959
9. Сыромятников Н А Становление новояпонского языка. М, 1965
10. Алпатов В М Басс И И Фомин А И Японское языкознание VIII–XIX вв. // История лингвистических учений Средневековый Восток Л, 1981
11. Сибата Такэси Нихонго-но сайго но кабэ ва кандзи сие // Нихонго, 1990 № 1
12. Сибата Такэси Ару гайрайгогун-га тэйтяку-суру мадэ // Нихонго, 1990 № 7
13. Сыромятников Н А Развитие новояпонского языка М, 1978
14. Виноградов В В Избранные труды История русского литературного языка М, 1978
15. Hatada T Outlines of modern Japanese linguistics Tokyo, 1966
16. Neustupny I V Post-structural approaches to languages (Language theory in a Japanese context) Tokyo, 1978
17. Харада Танэнари Кокуго 1-но камбун-но сидо-ни цуйтэ // Кандзи-камбун, 1982 № 27
18. Сато Хисао Нэнга хагаки но хэгэн // Кокубунгаку-кахо 1974 № 3

- 19 *Мориока Кэндзи* Гэндай но гэнго сэйкацу // Кодза кокугоси 1972 Т 6 Бунтайси гэнго сэйкацу си
- 20 *Киносита Дзюндзи* Котоба то фурусато // Кокуго-дзусин 1983 № 5
- 21 *The Gospel in many tongues* London, 1950
- 22 *Токиэда Мотоки* Основы японского языкознания // Языкознание в Японии М, 1983
- 23 *Киэда М* Грамматика японского языка Т 1–2 М, 1958–1959
- 24 *Холодович А А* Синтаксис японского военного языка М, 1937
- 25 *Пориванову Е Д* Нихонго кэнкю Токио, 1976
- 26 *Марр Н Я* К реформе письма и грамматики // Русский язык в советской школе 1930 № 4
- 27 *Марр Н Я* Избранные работы Т II М–Л 1936
- 28 Архив РАН, фонд 468 (Н М Каринский), опись 1, ед хр 210
- 29 *Конрад Н И* Вопросы языка в послевоенной Японии // Вестник АН СССР 1948 № 6
- 30 *Suzuki T* On the twofold phonetic realization of basic concepts in defence of Chinese characters in Japanese // Language in Japanese Society Tokyo, 1975
- 31 *Яковлев Н Ф* За латинизацию русского алфавита // Культура и письменность Востока Кн VI Баку 1930
- 32 *Поливанов Е Д* Русский язык сегодняшнего дня // Литература и марксизм, 1928 Кн 2
- 33 *Поливанов Е Д* – Родной язык и литература в трудовой школе 1928 № 3 – Рец Селищев А М Язык революционной эпохи
- 34 *Поливанов Е Д* О литературном (стандартном) языке современности // Родной язык в школе Сб I М, 1927
- 35 *Сугито Миеко, Окумура Аяко* Оя но хогэн-акусэнто га кодомо-но акусэнтоката-но хацун ни атаэру эйкэ // Осака-сёин-дзеси дайгаку ронсю № 21 1984
- 36 *Охаси Сумико* Ханасикотоба-но хангяку-ни цуйтэ // Сого-бунка кэнкюдзе кие 1984 Т 1
- 37 *Касивамура Сидзюко* Кокугога гакусю-гои ни кансүру кэнкю // Гогаку бунгаку 1983 № 21
- 38 Гэнго сэйкацу 1984 № 11
- 39 *Mizutani O* Japanese the Spoken language in Japanese life Tokyo, 1981
- 40 *Алпатов В М* Япония язык и общество М, 1988
- 41 *Тоеда Кунио* Нихон но кокуго сэйсаку-но мондай // Гэнго-сэйкацу, 1972, № 9
- 42 Гэнго сэйкацу 1984 № 12
- 43 *Имаи Тадаси* Кокуго ни окэру кандзи но уммэй // Убэ-танки-дайгаку гакудзюцу хококу 1980 № 16
- 44 *Алпатов В М* О специфике японских словарей // Язык и культура Новое в японской филологии М 1987